

*Моим наставникам,
Людвигу фон Мизесу и Джозефу Дорфману*

ВВЕДЕНИЕ

Как гласит подзаголовок этой книги, история экономической мысли рассматривается в ней с откровенно «австрийских» позиций, т.е. с точки зрения приверженца «австрийской школы» в экономической теории. Это единственная такого рода работа, написанная современным австрийцем; более того, за последние десятилетия на эту тему австрийцами опубликовано лишь несколько монографий, посвященных специальным областям истории идей¹. Кроме того, взгляд, представленный в этой книге, основан на наименее модном в настоящий момент, но при этом далеко не самом малораспространенном варианте австрийской школы — «мизесианском», или «праксеологическом»².

При этом австрийский характер этой работы — не единственная ее особенность. Когда автор в 1940-х гг. начинал изучать экономическую теорию, в исследовании истории экономической мысли полностью господствовала та же парадигма, которая преобладает и сегодня, хотя и не так явно, как тогда. Фактически она описывает суть истории экономической мысли как список «великих людей», среди которых выделяется почти что основатель этой науки, почти сверхчеловек Адам Смит. Но если Смит был творцом как экономического анализа, так и доктрины свободной торговли, т.е. традиции поддержки свободного рынка в политической экономии, то из этого следует, что ставить под сомнение его предполагаемые достижения есть мелочность и пошлость. Любая жесткая критика Смита как экономиста и как поборника свободного рынка представлялась анахронизмом: глядя на первооткрывателя и основателя с высоты сегодняшнего уровня знаний жалкие последователи несправедливо порицают гиганта, на плечах которого все мы стоим.

Если Адам Смит создал экономическую теорию, подобно тому как Зевс создал Афины, вышедшую из его головы сразу взрослой и в полном вооружении, то его предшественники были просто фоном — мелкими и ничего не значащими персонажами. Поэтому в классических изложениях истории экономической мысли уделялось очень мало внимания тем, кому не повезло быть предшественником Смита. Как правило, их относили к одной из двух категорий, а затем объявляли не имеющими никакого значения. Непосредственными предшественниками Смита были меркантилисты, которых он резко критиковал. Меркантилисты были просто дурачками, убеждавшими людей накапливать деньги, а не тратить их, или настаивавшими на том, что торговля с каждой страной должна быть

1 На полях под чертой указано начало страницы по английскому оригиналу. См. указатель.

Вставки в квадратных скобках принадлежат М. Ротбарду, вставки в угловых скобках — переводчикам и издательству.

«сбалансированной». От схоластов отмахивались еще более бесцеремонно, объявляя их невежественными средневековыми моралистами, неизменно настаивавшими на том, что «справедливая» цена должна покрывать купцу издержки производства с добавлением разумной прибыли.

Затем классические работы 1930—1940-х гг. по истории экономической мысли переходили к изложению и преимущественно прославлению достижений нескольких выдающихся фигур после Смита. Рикардо систематизировал Смита и был доминирующей фигурой в экономической теории до 1870-х гг.; затем «маржиналисты» Джевонс, Менгер и Вальрас слегка подкорректировали «классическую экономическую теорию» Смита—Рикардо, подчеркнув важность отдельной дополнительной единицы блага в отличие от целых классов благ. Затем рассказ переходил к Альфреду Маршаллу, мудро интегрировавшему рикардианскую теорию издержек в якобы односторонний подход австрийцев и Джевонса, делавших упор на спрос и полезность, что привело к созданию современной неоклассической экономической теории. Невозможно было проигнорировать и Карла Маркса, который трактовался в соответствующей главе как путаный последователь Рикардо. В результате историк мог состряпать свой рассказ, ограничившись четырьмя-пятью «крупными фигурами», каждая из которых, за исключением Маркса, добавила несколько новых строительных блоков в здание непрерывного прогресса экономической науки, история которого, по существу, представлялась как движение вперед и вверх, к свету³.

Разумеется, после Второй мировой войны в пантеон был включен Кейнс, составивший новую кульминационную главу в развитии и прогрессе науки. Кейнс, любимый ученик великого Маршалла, понял, что старик упустил из виду то, что позднее было названо «макроэкономикой», так как делал упор исключительно на микроэкономике. И Кейнс добавил макроэкономике, сосредоточившись на изучении и объяснении безработицы — феномена, который все его предшественники почему-то не включали в общую экономическую картину или отметали, легкомысленно вводя для своего удобства «предположение о полной занятости».

С тех пор господствующая парадигма оставалась в основном неизменной, хотя в последнее время небо на горизонте стало заволакиваться тучами. Прежде всего такого рода история непрерывного движения вверх благодаря «великим людям» требует периодического добавления новых последних глав. «Общая теория занятости, процента и денег» Кейнса была опубликована в 1936 г., т.е. сегодня это работа уже почти шестидесятилетней давности. За это время не мог не появиться новый «великий человек», вписавший последнюю главу. Но кто это? Какое-то время на эту роль претендовал Шумпетер с его современным и вроде бы реалистическим акцентом на «инновациях». Но это направление с треском провалилось — возможно, из-за понимания того простого факта, что фундаментальная работа Шумпетера (или «видение», как он сам ее пронципально назвал) была написана за два десятилетия до «Общей теории». С 1950-х гг.

наступил темный период; возвращение же к некогда забытому Вальрасу трудно впихнуть в прокрустово ложе непрерывного прогресса.

Моя собственная точка зрения о глубокой порочности подхода, основанного на концепции «нескольких великих людей», сформировалась во многом под влиянием работ двух блестящих исследователей интеллектуальной истории. Один из них — Джозеф Дорфман, мой научный руководитель во время написания докторской диссертации, чей уникальный многотомный труд по истории американской экономической мысли убедительно продемонстрировал, насколько важную роль в развитии идей играют «менее значительные» фигуры. Во-первых, не учитывать эти фигуры — значит упускать из виду саму ткань истории, и если отобрать несколько разрозненных текстов, из которых состоит История Идей (с большой буквы), и трястись над ними, то история таким образом оказывается сфальсифицированной. Во-вторых, многие якобы второстепенные лица внесли значительный вклад в развитие идей, причем в ряде случаев больший, чем вклад горстки выдающихся мыслителей. Таким образом, важные аспекты экономической мысли оказываются опущены, и получающаяся в конце концов теория оказывается мелкотравчатой, выхолощенной и безжизненной.

Более того, при подходе, основанном на выделении «немногих великих людей», игнорируется диалогичность самой истории, контекст идей и движений, то, как люди влияли и реагировали друг на друга. Самой наглядной демонстрацией этого аспекта работы историка для меня стал двухтомный труд Квентина Скиннера «Истоки современной политической мысли», значение которого можно по достоинству оценить и не разделяя бихевиористской методологии автора⁴.

Для меня — как, вероятно, и для всех — идея непрерывного прогресса науки, ее движения «вперед и вверх» была полностью опровергнута знаменитой книгой Томаса Куна «Структура научных революций»⁵. Ее автор уделил ноль внимания экономической науке, вместо этого сосредоточившись на таких неизменно «точных» науках, как физика, химия и астрономия, что является стандартной практикой у философов и историков науки. Введя в интеллектуальный дискурс слово «парадигма», Кун разрушил то, что я предпочитаю называть «виговской теорией истории науки». Эта теория, которую разделяют почти все историки науки, в том числе экономической, состоит в том, что научная мысль развивается постепенно, год за годом, путем разработки, тщательного анализа и проверки теорий, и таким образом наука движется вперед и вверх, с каждым годом, десятилетием и поколением узнавая больше и получая все более правильные научные теории. Подобно стороннику виговской теории истории, придуманной в Англии в XIX в., согласно которой положение дел постоянно улучшается (и поэтому не может не улучшаться), адепт виговской теории истории науки явно или неявно утверждает (на первый взгляд с большим основанием, чем обычный виг-историк), что в любой отдельной научной дисциплине «более позднее, всегда лучше

более раннего». Независимо от того, занимается ли он историей науки или историей вообще, он, по сути, утверждает, что в любой момент исторического времени «то, что фактически имело место, и было правильным» или, по крайней мере, оно было лучше, чем «то, что было раньше». Неизбежным результатом становится самодовольный оптимизм в духе доктора Панглосса, который не может не вызывать острого раздражения. В историографии экономической мысли следствием такой позиции становится твердая, хотя и не выраженная явно точка зрения, что каждый отдельный экономист или по крайней мере каждая экономическая школа внесла свою важную лепту в неизбежное движение вверх. Поэтому неоткуда взяться крупной системной ошибке, которая сделала бы глубоко ущербной или даже несостоятельной целую школу экономической мысли, не говоря уж о том, чтобы завести в тупик всю экономическую науку в целом.

Однако Кун потряс мир философии, продемонстрировав, что наука развивается совсем не так. После того как центральная парадигма выбрана, никто не занимается ни проверкой, ни отсеиванием, а попытки проверить базовые послышки предпринимаются лишь тогда, когда серия провалов и аномалий в господствующей парадигме ввергает науку в «состояние кризиса». Совершенно не нужно принимать нигилистический философский подход Куна — подразумевающий, что ни одна парадигма не является и не может быть лучшей, чем другая, — чтобы понять, что его не столь прекраснородушный взгляд на науку выглядит правдоподобным и с исторической, и с социологической точки зрения.

Но если стандартное романтическое, или оптимистическое, представление не работает в случае строгих наук, то тем более оно не может не быть полностью неадекватным применительно к таким «нестрогим наукам», как экономика — дисциплина, в которой невозможна лабораторная экспериментальная проверка и где на экономические представления человека оказывают влияние многочисленные еще менее строгие дисциплины, такие как политика, религия и этика.

Поэтому для экономической науки не может быть действительной никакая презумпция о том, что более поздние идеи лучше, чем более ранние, или что все знаменитые экономисты внесли заметную лепту в развитие этой дисциплины. Нельзя ведь утверждать, что каждый из них поучаствовал в возведении некоего постоянно растущего здания, — представляется более вероятным, что экономическая теория развивалась конфликтным, зигзагообразным образом, когда более поздняя системная ошибка порой вытесняла прежние, но более адекватные парадигмы, направляя тем самым экономическую мысль по совершенно ошибочному, а возможно, и трагическому пути.

В последние годы экономическая теория, находящаяся под доминирующим влиянием формализма, позитивизма и эконометрики и выставяющая себя в качестве строгой науки, не проявляет особого интереса к своему прошлому. Она сосредоточена, как и всякая «настоящая» наука,

на только что вышедшей журнальной статье или новейшем учебнике, а не на исследовании собственной истории. Ведь не тратят же современные физики много времени на обдумывание оптики XVIII века!

Однако в последние одно-два десятилетия доминирующая парадигма вальрасианско-кейнсианского неоклассического формализма все больше ставится под сомнение, и в различных отраслях экономической теории складывается действительно «кризисное состояние» в куновском смысле, включающее озабоченность по поводу ее методологии. В этой ситуации изучение истории экономической мысли вновь серьезно заявляет о себе, и мы надеемся и ожидаем, что в ближайшие годы оно будет расширяться⁶. Ибо если знание, похороненное вместе с утерянными парадигмами, может исчезнуть и быть забыто с течением времени, то из этого следует, что можно заниматься изучением экономистов и теоретических школ прошлого не только из интереса к старине и не только для того чтобы узнать, как протекала интеллектуальная жизнь в прежние времена. Старых экономистов можно изучать ради их важного вклада в то знание, которое сегодня забыто и уже в силу этого является новым. Важные истины, относящиеся к содержанию экономической теории, могут быть извлечены не только из новейших журнальных выпусков, но и из текстов давно умерших экономических мыслителей.

Но все это лишь методологические обобщения. Конкретное понимание того, что важное экономическое знание с течением времени было утеряно, пришло ко мне в результате освоения того великого пересмотра трактатов схоластики, который произошел в 1950—1960-х гг. Кардинальным прорывом в этом ревизионистском направлении стала великая работа Шумпетера «История экономического анализа», а развитие он получил в трудах Раймонда де Рувера, Марджори Грайс-Хатчинсон и Джона Нунана. Оказалось, что схоласты были не просто «средневековыми» — это направление, зародившееся в XIII в., развивалось и процветало вплоть до XVI—XVII вв. Схоласты вовсе не были моралистами, объяснявшими цену издержками производства, а считали, что справедливая цена — это та цена, которая установилась на основе «общей оценки» свободного рынка. Но и это не всё: они не только не были сторонниками наивной теории ценности, объясняющей последнюю затратами труда или издержками производства, но их можно рассматривать как «протоавстрийцев», создавших тщательно разработанную теорию ценности и цен, основанную на субъективной полезности. Кроме того, некоторые из схоластов намного превосходили современную формалистическую микроэкономику тем, что развили «протоавстрийскую» динамическую теорию предпринимательства. Наконец, в сфере «макроэкономики» схоласты, начиная с Буридана и заканчивая кульминацией развития этого направления, которой стали испанские схоластические авторы XVI в., построили «австрийскую», а не монетаристскую теорию денег и цен, основанную на понятиях спроса и предложения и включающую в себя такие разделы,

как межрегиональные денежные потоки и даже теория паритета покупательной способности, объясняющая обменные курсы валют.

По-видимому, не случайно, что толчком к этому коренному пересмотру представлений о схоластике для американских экономистов (к числу достоинств которых обычно не относится владение латинским языком) стали работы экономистов, получивших образование в Европе и поднаторевших в латыни — языке, на котором писали схоласты. Этот простой факт обращает наше внимание еще на одну причину утери знания в современном мире: изолированность в рамках собственного языка (особенно остро дающая о себе знать в англоязычных странах), которая со времен Реформации разорвала на части некогда единое общеевропейское сообщество ученых. Одно из объяснений того, почему континентальная экономическая мысль зачастую оказывала лишь минимальное влияние на Англию и США или, в лучшем случае, оказывала его с большим опозданием, заключается просто-напросто в том, что европейские работы не переводились на английский язык⁷.

Для меня воздействие исторического ревизионизма в отношении схоластики дополнялось и усиливалось создававшимися в те же десятилетия работами Эмиля Каудера, «австрийского» историка экономических идей, родившегося в Германии. Он обнаружил, что доминировавшая в XVII и особенно в XVIII в. во Франции и Италии экономическая мысль тоже была «протоавстрийской», делавшей упор на субъективную полезность и относительную редкость как на детерминанты ценности. Отталкиваясь от этой подготовительной работы, Каудер пришел к удивительному прозрению в отношении Адама Смита, которое тем не менее прямо вытекало из его собственных результатов и из трудов ревизионистских историков схоластики: Адам Смит не только не был основателем экономической теории, но и сыграл фактически противоположную роль. В действительности он получил от предшественников почти полностью разработанную, протоавстрийскую традицию теории субъективной ценности и, к величайшему прискорбию, направил экономическую теорию по ложному пути, заведшему ее в тупик, из которого австрийцам пришлось ее вытаскивать столетие спустя. Смит отбросил субъективную ценность, предпринимательство и акцент на рыночной активности и реальном формировании рыночных цен и заменил все это трудовой теорией ценности, а основное внимание сосредоточил на неизменном долгосрочном равновесии при «естественной цене», т.е. на мире, в котором предпринимательство отсутствует по определению. Усилиями Рикардо это трагическое смещение фокуса было усилено и приобрело форму законченной системы.

Смит не был не только создателем экономической теории, но и основателем традиции *laissez faire* в политической экономии. Не только схоласты анализировали свободный рынок, верили в него и критиковали государственное вмешательство; французские и итальянские экономисты XVIII в. были более ориентированы на *laissez faire*, чем Смит, разбавив-

ший многочисленными увертками и оговорками то, что в устах Тюрго и других авторов было практически беспримесной защитой *laissez faire*. Адам Смит оказался вовсе не той фигурой, которую следует почитать как основателя современной экономической науки и доктрины невмешательства государства в экономическую жизнь; ему в большей степени подходит та характеристика, которую ему дал Пол Дуглас на юбилейных торжествах в Чикаго в 1926 г.: необходимый предшественник Карла Маркса.

Вклад Эмиля Каудера не ограничивается характеристикой Адама Смита как разрушителя существовавшей до него здоровой традиции экономической теории, как человека, положившего начало гигантскому «скачку вбок», если придерживаться зигзагообразной, в духе концепции Куна, картины истории экономической мысли. Не менее захватывающим, хотя и более спекулятивным является описание Каудером существенной причины загадочной асимметрии в развитии экономической мысли в разных странах. Например, почему традиция субъективной полезности процветала на континенте, особенно во Франции и Италии, а затем возродилась в Австрии, в то время как трудовая теория ценности и теория детерминации ценности издержками производства развивались в основном именно в Великобритании? Каудер объясняет это различие глубоким влиянием религии: схоласты были католиками, Франция, Италия и Австрия были католическими странами, а католицизм делал акцент на потреблении как цели производства и считал полезность для потребителя и получение удовольствия от потребления, по крайней мере если оно остается в рамках умеренности, активностью, которая обладает ценностью. Напротив, британская традиция, начиная с самого Смита, была кальвинистской и отражала тот факт, что кальвинизм делал упор на усердную работу и трудовые усилия не только как на единственное благо, но и как на величайшее благо по самой своей сущности, и воспринимал потребительское удовлетворение как в лучшем случае необходимое зло, как всего лишь необходимое условие для продолжения труда и производства.

Когда я читал Каудера, этот его взгляд поначалу показался мне весьма нетривиальной, но все же недоказанной спекуляцией. Однако по мере дальнейшего изучения экономических идей и в ходе написания томов этой книги я пришел к выводу, что его идея многократно подтверждается. Хотя Смит и был «умеренным» кальвинистом, тем не менее он был твердым приверженцем этого учения, и я был вынужден заключить, что его кальвинистская тенденция может служить объяснением, например, поддержки им законов о ростовщичестве, в противном случае представляющейся совершенно загадочной, а также смещения им акцента при объяснении ценности с капризного, любящего роскошь потребителя на добродетельного работника, закладывающего часы своего тяжелого труда в ценность произведенного им материального продукта.

Но если феномен Смита можно объяснить кальвинизмом, то как насчет Давида Рикардо, испано-португальского еврея, обратившегося

в квакерство, который определенно не был кальвинистом? Здесь, как мне кажется, существенной частью объяснения может служить доминирующая роль Джеймса Милля, учителя Рикардо и главного основателя «рикардианской системы». Ведь Милль был шотландцем, рукоположенным в пресвитерианские пасторы и насквозь пропитанным кальвинизмом; то, что Милль переехал в Лондон и стал агностиком, не оказало никакого влияния на кальвинистский характер его глубинного отношения к жизни и миру. Огромная проповедническая энергия Милля, его пламенная борьба за социальные улучшения и приверженность к упорному труду (а также к родственной ему кальвинистской добродетели бережливости) отражали его кальвинистское мироощущение, которому он оставался верен на протяжении всей жизни. Возрождение рикардизма в трудах Джона Стюарта Милля можно интерпретировать как проявление преданности и почтения по отношению к доминирующему отцу. Осуществленная Альфредом Маршаллом тривиализация открытий австрийской школы в рамках неорикардизанской схемы тоже является продуктом мысли неокальвиниста, склонного к проповедничеству и к крайней степени морализаторства.

И наоборот, совершенно не случайным было то, что австрийская школа, ставшая главным вызовом представлениям Смита и Рикардо, появилась в стране, которая была преимущественно католической, ценности и менталитет которой все еще находились под сильным влиянием идей аристотелизма и томизма. Немецкие предшественники австрийской школы жили и работали не в протестантской и антикатолической Пруссии, а в тех германских государствах, которые были либо католическими, либо союзными Австрии, а не Пруссии.

Результатом всех этих исследований для меня стало растущее убеждение в том, что пренебрежение религиозными взглядами, а также социальной и политической философией катастрофически искажает картину истории экономических идей. Это совершенно очевидно применительно к периоду до XIX в., но верно и для нашего столетия, несмотря на то что технический аппарат науки к этому времени уже во многом зажил своей жизнью.

Вследствие этих соображений тома данной книги сильно отличаются от стандартных сочинений такого рода не только тем, что представляют австрийскую, а не неоклассическую или институционалистскую точку зрения. Вся работа в целом намного длиннее, чем большинство аналогичных, так как она неизменно уделяет внимание «менее значительным» фигурам и их взаимодействию друг с другом, а также делает упор на важность их религиозной и социальной философии, а не только «экономических» взглядов в узком смысле. Однако я надеюсь, что объем и включение в рассмотрение всех этих элементов не делают эту работу менее удобочитаемой. Напротив, история с необходимостью предполагает нарратив, обсуждение не только абстрактных теорий, но и реальных личностей; она включает в себя триумфы, трагедии и конфликты,

причем последние зачастую имеют не только чисто теоретический, но и этический характер. Поэтому я надеюсь, что нетипично большой объем книги будет компенсирован для читателя тем, что драма человеческой жизни будет отражена в ней гораздо больше, чем это обычно бывает в трудах по истории экономической мысли.

Мюррей Ротбард
Лас-Вегас, Невада

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Капитальный и весьма ценный труд Йозефа Шумпетера «История экономического анализа» (Joseph Schumpeter, *History of Economic Analysis*. New York: Oxford University Press, 1954 <Шумпетер Й. История экономического анализа. Т. 1—3. СПб.: Экономическая школа, 2001>) порой называют «австрийским». Но хотя Шумпетер вырос в Австрии и обучался под руководством великого австрийца Бём-Баверка, он был убежденным последователем Вальраса, и вдобавок его работа эклектична и не может быть отнесена ни к какой школе.
2. Характеристику трех ведущих в настоящее время парадигм в рамках австрийской школы см. в: Murray N. Rothbard, *The Present State of Austrian Economics* (Auburn, Ala: Ludwig von Mises Institute, 1992).
3. Когда автор этих строк готовился к устным экзаменам на докторскую степень в Колумбийском университете, его экзаменатором по истории экономической мысли был почтенный Джон Морис Кларк. Когда он спросил Кларка, читал ли тот Джевонса, Кларк ответил довольно неожиданным образом: «А зачем? Все, что есть хорошего у Джевонса, есть и у Маршалла».
4. Joseph Dorfman, *The Economic Mind in American Civilization* (5 vols, New York: Viking Press, 1946–1959); Quentin Skinner, *The Foundations of Modern Political Thought* (2 vols, Cambridge: Cambridge University Press, 1978) <Скиннер К. Истоки современной политической мысли. М.: Дело, 2018>.
5. Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions* (1962, 2nd ed., Chicago: University of Chicago Press, 1970) <Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ, 2003>.
6. Благоприятным знаком этой недавней смены подходов может служить то внимание, которое в последние годы уделяется критике неоклассического формализма как полностью зависящего от устаревшей механики XIX в. Блестящий пример см. в: Philip Mirowski, *More Heat than Light* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).
7. Сегодня, когда английский язык стал европейским lingua franca, и большинство европейских журналов публикуют англоязычные статьи, этот барьер снизился до минимума.

БЛАГОДАРНОСТИ

Непосредственным вдохновителем создания этих томов стал Марк Скоузен из Роллинз-Колледжа, штат Флорида, который настоятельно советовал мне написать историю экономической мысли с точки зрения австрийской школы. Он же убедил Институт политической экономии поддержать мое исследование в течение первого академического года работы над ним. Первоначально Марк представлял себе этот текст как стандартную книгу среднего размера, посвященную периоду от Адама Смита до настоящего времени, т.е. как своего рода «анти-Хейлбронер». Однако, поразмыслив над задачей, я сказал ему, что следовало бы начать с Аристотеля, так как Смит являл собой резкое ухудшение по сравнению со многими его предшественниками. Никто из нас тогда не представлял охват и объем предстоящего исследования.

Невозможно перечислить всех людей, у которых я чему-либо научился в ходе преподавания и обсуждения истории экономической мысли и связанных с ней дисциплин на протяжении всей моей жизни. Здесь я вынужден опустить большинство из них и упомянуть лишь нескольких. Посвящением к книге я признаю свой огромный долг перед Людвигом фон Мизесом за созданное им грандиозное здание экономической теории, за все, чему он меня научил, за дружбу и за тот вдохновляющий пример, которым стала его жизнь, а также перед Джозефом Дорфманом за его первопроходческий труд в области истории экономической мысли, за подчеркивание им важности первичной материи истории, а также за сами его теории и за старательное обучение меня историческому методу.

Я в большом долгу перед Луэллином Роквеллом за создание и организацию Института Людвиг фон Мизеса, учрежденного при Университете Оберна, штат Алабама, и за превращение его в течение десятилетия в процветающий и высокопроизводительный центр развития австрийской школы экономической теории и ее преподавания. Для меня не последнюю роль сыграло то, что Институт Мизеса привлек исследователей, у которых я смог многому научиться, и объединил их в сеть. Здесь я должен особо выделить Джозефа Салерно из Университета Пейс, который проделал в высшей степени творческую работу в сфере истории экономической мысли, а также Дэвида Гордона, сотрудника Института Мизеса, человека энциклопедических знаний и «исследователя исследователей», в чьих многочисленных работах по философии, экономической теории и интеллектуальной истории воплотилась лишь малая часть его эрудиции в этих и многих других областях. Благодарю также Гэри Норту, главу Института христианской экономики в Тайлере, штат Техас, за полезные библиографические указания, касающиеся Маркса и социализма в целом, а также за объяснение премудростей,

связанных со всевозможными разновидностями миллениаризма — пре-, пост- и амиллениаризма. Разумеется, никто из названных людей не несет ответственности за какие-либо ошибки, содержащиеся в этой книге.

Большая часть моей исследовательской работы была выполнена благодаря богатейшим ресурсам библиотек Колумбийского и Стэнфордского университетов а также библиотеки Университета штата Невада в Лас-Вегасе — с добавлением моего собственного книжного собрания, накопленного на протяжении многих лет. Я остаюсь одним из немногих ученых, упорно приверженных к низкотехнологичным пишущим машинкам вместо того, чтобы перейти к использованию компьютеров и текстовых редакторов, и это обусловило мою зависимость от машинисток, из которых я особо хотел бы отметить двоих — Жанет Банкер и Донну Эванс из Университета штата Невада в Лас-Вегасе.

ГЛАВА 1

ПЕРВЫЕ ФИЛОСОФЫ-ЭКОНОМИСТЫ: ДРЕВНИЕ ГРЕКИ

Как обычно, все началось с древних греков. Античные греки стали первым цивилизованным народом, применившим свой разум для систематического осмысления окружающего их мира. Греки были первыми философами (*philo sophia* — любители мудрости), первым народом, который стал глубоко задумываться и осмыслять то, каким путем добываются и проверяются знания об окружающем мире. Другие племена и народы, как правило, считали природные явления прихотью богов. Например, сильная гроза могла быть приписана чему-то, что раздражало бога грома. Вызвать дождь или обуздать ужасные грозы означало выяснить, какие действия человека угодны богу дождя или умилостивят бога грома. Такие люди любые попытки обнаружить природные причины дождя или грома сочли бы глупостью. Вместо этого следовало понять, чего хотели соответствующие боги, а затем попытаться удовлетворить их желания.

Грекам, наоборот, хотелось задействовать свой разум — свою способность наблюдать и логически мыслить — с целью исследования и познания мира. Поэтому они постепенно перестали беспокоиться о прихотях богов и занялись изучением окружающих их реальных объектов. Ведомые в частности великим афинским философом Аристотелем (384—322 до н.э.), блестящим и творческим систематизатором, который в более поздние эпохи получил известность как Философ, древние греки развили теорию, метод рассуждения и науку, которые позднее стали называться *природным законом*.

1.1. ПРИРОДНЫЙ ЗАКОН

В основе природного закона лежит фундаментальная идея, гласящая, что для того, чтобы *быть*, нужно быть *чем-то*, т.е. какой-то конкретной вещью или сущностью. Не существует абстрактного бытия. Все, что *есть*, является конкретным предметом, будь то камень, кошка или дерево. Эмпирическим путем был установлен факт, что во Вселенной имеется более чем одна-единственная вещь; в реальности существуют тысячи, если не миллионы видов вещей. Каждая вещь имеет свой собственный набор свойств или атрибутов, свою *природу*, что и отличает ее от вещей других видов. Камень, кошка, вяз; у каждого есть своя особая природа, которую человек может обнаружить, исследовать и определить.

Если возможно обнаружить и исследовать природу сущностей X и Y , то возможно обнаружить, что происходит и при *взаимодействии* этих сущностей. Предположим, например, что когда определенное количество X взаимодействует с данным количеством Y , получается определенное количество еще одной сущности Z . Тогда можно сказать, что *причиной* появившейся Z стало взаимодействие X и Y . Так химики могут обнаружить, что когда две молекулы водорода взаимодействуют с одной молекулой кислорода, то в результате получается одна молекула новой сущности — воды. Все эти сущности — водород, кислород и вода — обладают конкретными, доступными для изучения свойствами, или природой, которую возможно определить.

Тогда очевидно, что понятия *причины* и *следствия* являются неотъемлемой частью анализа природного закона. События в мире можно проследить вплоть до взаимодействия конкретных сущностей. Поскольку их природные свойства даны, и их возможно определить, при аналогичных условиях взаимодействие различных сущностей будет воспроизводимым. Одни и те же причины всегда будут давать один и тот же результат.

Для философов — последователей Аристотеля логика была не отдельной и изолированной дисциплиной, а неотъемлемой частью природного закона. Так, основной процесс определения сущностей «классической», или Аристотелевой, логики приводит к закону тождества: вещь не может быть ничем иным, кроме того, чем она является: a есть a .

Отсюда следует, что сущность не может быть отрицанием себя. Или, иначе говоря, получаем закон непротиворечия: вещь не может быть и a , и не- a ; a не является и не может быть не- a .

Наконец, в нашем мире многочисленных видов сущностей что-то должно или быть a или не должно им быть; иначе говоря, это будет a либо не- a . Ничто не может быть и тем и другим. Это приводит к третьему, хорошо известному закону классической логики — закону исключенного третьего: во Вселенной все либо a , либо не- a .

Но если каждая сущность во Вселенной, если водород, кислород, камень или кошки могут быть определены, а их природа исследована, то, значит, познаваем и человек. У человеческих существ также должна быть своя природа, свои определенные свойства, которые могут быть изучены и из которых возможно извлечь знание. Человеческие существа уникальны во Вселенной, потому что они могут и познают себя и окружающий их мир и пытаются выяснить, какие им следует преследовать цели и какие средства они могут использовать для их достижения.

Понятие «хороший» (и, соответственно, «плохой») имеет отношение только к живым существам. Поскольку камни или молекулы не имеют целей или намерений, всякое представление о том, что может быть «хорошим» для молекулы или камня, справедливо считалось бы странным. Однако то, что может быть «хорошим» для вяза или для собаки, приобретает огромный смысл: в частности, «хорошим» является то, что ве-

дет к выживанию и процветанию живого существа. «Плохим» — все то, что вредит жизни или благополучию живого существа. Таким образом, можно разработать этику «вяза», выяснив, какими должны быть условия для наилучшего роста и поддержания жизни вязов: почва, солнце, климат и т.д.; и избегая условий, которые считаются для вязов «плохими»: болезни, засуха и т.д. Подобный набор этических свойств можно разработать для самых разных видов животных.

Таким образом, с позиций природного закона этика имеет смысл только по отношению к живым существам (или *видам*). То, что хорошо для капусты, будет отличаться от того, что хорошо для кроликов, и, в свою очередь, будет отличаться от того, что хорошо или плохо для человека. Этика каждого вида будет иметь отличия, соответствующие его природе.

Человек — единственный вид, который может — и действительно должен — разработать собственную этику. Растения не обладают сознанием и, следовательно, не могут выбирать или действовать. Сознание животных узко перцептивное, они не способны мыслить концептуально: они не обладают способностью формулировать идеи и высказывать в соответствии с замыслом. Человек, согласно знаменитому высказыванию Аристотеля, это единственное *разумное животное* — вид, который использует разум для восприятия ценностей и этических принципов и который действует с целью достичь эти цели. Человек *действует*; т.е. он принимает ценности и цели и выбирает пути для их достижения.

Поэтому, стремясь к целям и реализуя способы их достижения, человек должен исследовать и работать, оставаясь в рамках природного закона: свойств самого себя и свойств других существ и способов, с которыми ему, возможно, придется взаимодействовать.

Западная цивилизация в огромной степени является древнегреческой; и две великие философские традиции античной Греции, во многом сформировавшие мышление Запада, были традициями Аристотеля и традицией его великого учителя и антагониста Платона (428—347 до н.э.). Как уже было сказано, в глубине души каждый человек относится либо к последователям Платона, либо к последователям Аристотеля, и граница проходит по всей линии соприкосновения этих учений. Платон первым применил подход с позиций естественного права, который Аристотель развил и систематизировал; однако основные направления были совершенно разными. Для Аристотеля и его последователей существование человека, как и всех остальных существ, является «случайным», т.е. не является необходимым и вечным. Только существование Бога необходимо и вне времени. Случайность человеческого существования является просто неотъемлемой частью природного порядка и должна быть принята в качестве таковой.

Однако для платоников, особенно как это сформулировал последователь Платона египтянин Плотин (204—270 н.э.), эти неизбежные ограничения естественного состояния человека неприемлемы и должны быть преодолены. Для платоников действительное, конкретное, фактическое

существование человека во времени было слишком ограниченным. В отличие от этого существование (которое включает в себя всё, что каждый из нас когда-либо видел) они понимали как грехопадение, падение с вершин изначального несуществования, идеального, совершенного, вечного бытия человека, богоподобного совершенства и, следовательно, ничем не ограниченного. Платоники весьма причудливым языком описывали это идеальное и несуществующее существо как *действительно существующее*, истинной сущностью человека, от которой мы все были отчуждены или отрезаны. Природа человека (и всех других сущностей) в нашем мире состоит в том, чтобы быть чем-то и существовать во времени; однако в понимании платоников действительно существующий человек должен жить вечно, жить вне времени и не иметь никаких ограничений. Следовательно, человек пребывает на земле в состоянии деградации и отчуждения, и его предполагаемая цель должна состоять в том, чтобы найти свой собственный путь назад к «истинной» безграничной и совершенной личности, к своему якобы исходному состоянию. Разумеется, все это принимается без каких-бы то ни было доказательств — и в самом деле, ведь сами по себе доказательства есть ограничения и поэтому — в понимании платоников — всё портят.

Как мы убедимся в дальнейшем, взгляды Платона и Плотина на якобы отчужденное состояние человека оказали большое влияние на работы Карла Маркса и его последователей. Другим мыслителем, взгляды которого радикально расходились с аристотелевской традицией, ставшим протечей Гегеля и Маркса, был философ раннего досократовского периода Гераклит Эфесский (ок. 535 — 175 до н.э.).

Он был досократиком в том смысле, что жил до великого учителя Платона Сократа (470—399 до н.э.), ничего не написавшего, но труды которого дошли до нас в интерпретации Платона и некоторых других его последователей. Гераклит, которому греки дали меткое прозвище «Темный», учил, что иногда противоположности — *a* и не-*a* — могут быть тождественны или, другими словами, что *a* может быть не-*a*. Такое пренебрежение элементарной логикой можно было бы, вероятно, простить кому-то вроде Гераклита, который писал еще до того, как Аристотель разработал классическую логику, однако трудно оставаться столь же толерантным к его более поздним последователям.

1.2. ПОЛИТИКА ПОЛИСА

Когда человек, используя свой разум, переносит свое внимание с неживого мира на мир самого человека и на социальную организацию, тогда чистому разуму становится трудно избежать предубеждений и предрассудков, накладываемых политическими рамками эпохи. Это утверждение справедливо по отношению ко всем древним грекам, включая Сократа, Платона и Аристотеля. Греки жили в малых городах-государствах

(полисах), и некоторые из них оказались способны создать собственные заморские империи. Крупнейший город-государство Афины занимал территорию площадью всего около одной тысячи квадратных миль или половину площади современного штата Делавэр. Ключевым аспектом греческой политической жизни было то, что город-государство находился под властью жесткой олигархии привилегированных граждан, главным образом крупных землевладельцев. Большинство населения города-государства составляли рабы или осевшие здесь иностранцы, первые, как правило, занимались ручным трудом, вторые — коммерцией. Гражданство было исключительной привилегией потомков граждан. В то время как греческие города-государства колебались между прямой тиранией и демократией, в почти «демократических» Афинах, например, привилегии демократического правления были актуальны лишь для 7% населения, все остальные были либо рабами, либо иностранцами-поселенцами. (Так, в Афинах V в. до н.э. при населении в 400 тыс. человек число граждан составляло всего около 30 тыс.)

Будучи привилегированными землевладельцами, живущими за счет налогов и продукции, производимой рабами, афинские граждане располагали досугом для проведения голосований, дискуссий, занятий искусством и — для особо умных — философией.

Хотя философ Сократ сам был сыном каменотеса, его политические взгляды отличались сверхэлитарностью. В 404 г. до н.э. деспотическое государство Спарты завоевало Афины и установило господство террора, получившее известность как правление Тридцати тиранов. Когда годом позже афиняне свергли этот недолговечный режим, восстановленная демократия казнила пребывавшего уже в преклонном возрасте Сократа, обвинив его в симпатиях к спартанскому правлению. Этот опыт склонил Платона, блестящего молодого ученика Сократа, отпрыска знатного афинского семейства к, как сегодня это можно было бы определить, «ультраправой» приверженности аристократическому и деспотическому правлению.

Через десять лет на окраине Афин Платон основал собственную академию, мозговой центр, в котором не только учили абстрактной философией и проводили исследования, но и разрабатывали политические программы социального деспотизма. Сам Платон трижды безуспешно пытался установить деспотический режим в городе-государстве Сиракузы, и при этом не менее девяти студентов Платона сумели утвердиться в качестве тиранов в различных городах-государствах по всей Греции.

Хотя Аристотель был политически более умеренным, чем Платон, его аристократическая приверженность полису была вполне очевидна. Аристотель родился в прибрежном македонском городке Стагире, в аристократической семье, и в 367 г. до н.э. в 17-летнем возрасте поступил студентом в Академию Платона. Там он оставался до самой смерти Платона, последовавшей 20 лет спустя, после чего покинул Афины и в конце концов вернулся в Македонию, где был принят ко двору короля Филип-

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru